Дмитрий Фурманов

Летчик Тихон Жаров

Дмитрий Андреевич Фурманов
Летчик Тихон Жаров

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5735741

Аннотация

«…Жаров весь день кружится у машины – осматривает гайки и винты, ощупывает, привертывает, смазывает, приглаживает ее, как любимого человека… Он приходил сюда с техником, и целых полтора часа они простояли над машиной, заглядывая и прощупывая со всех сторон, или, лежа на спине, подползали под широко раскинутые крылья и снова высматривали, щупали, мазали холодные винтики, гайки, болты. Жарову хорошо знакомо это тревожное состояние перед решительным делом – не впервые вылетать ему в неравный бой, но сегодня тревога как-то особенно свежа, а мысль по-особенному чутка, быстра и неспокойна…»

Дмитрий Андреевич Фурманов
Летчик Тихон Жаров

Тих, прозрачен и душист июньский вечер. По березовой роще из конца в конец легким аукающим звоном плывут шорохи, высвисты, четкая дробная трель вечерних птиц… На просторной круглой поляне, у самой опушки, будто картонные белые домики, приникли в траву парусиновые палатки летчиков.

Там, в тени, спасаясь от туч комарья, с накрытыми лицами – расстегнутые, раздетые, в одном белье, с цигарками в зубах, кто с книжкой, кто с газетой – лежат они в сумерках, отдыхают. Или сбираются артелью – и через поляну, за рощу, на Валку купаться. Валка – узкая, тихоструйная речонка с отлогими берегами, глухо заросшими высокой травой. На Валке такая же тишь, даже тише, чем в роще. Только в осоке кряхтят тяжело и мерно огромные жирные лягушки… Над водой, над тихими, чуть слышными струями прозрачной газовой сетью поднялся вечерний туман… Из-за реки глухо, невнятно откуда-то издалека слышны голоса – это в деревне. Туда летчики ходят брать молоко, а иной раз по вечерам шатаются к девушкам: песни петь, играть на гармонике или парами, ныряя во тьму, пропадают за прудом, в лугах, в пе-

релесках…

Сегодня вечером никто нейдет ни купаться, ни к девушкам на деревню. Сегодня у всех на душе тяжело и мрачно, лица у всех угрюмы и строги: за рощей, на пригорке, под свежим холмиком земли они зарыли сегодня лучшего и любимого товарища – Никиту Зорина. Он погиб в воздушном бою, обуглился до костей в пламени сгоревшего самолета. За три недели схоронили двоих, но особенно тяжела была эта последняя утрата – и сегодня целый день ходят все с понурыми головами, стараются реже встречаться, меньше говорить: каждому хочется выносить, изжить в себе свое цельное, недробленое горе.

Из дивизии прилетел новый летчик, Тихон Жаров, – он работал на московском аэродроме и, говорят, считался одним из лучших. Здесь его знает Крючков, они в прошлом году вместе летали где-то под Киевом.

Каждое утро, на заре, из-за леса подымается неприятель, и нашим стареньким, растрепанным самолетам не под силу справиться с ловким, быстрым хищником. Завтра против него подымется Жаров, новый летчик – и будут снова в напряжении, с тревогой ждать товарищи рокового исхода…

Жаров весь день кружится у машины – осматривает гайки и винты, ощупывает, привертывает, смазывает, приглаживает ее, как любимого человека… Он приходил сюда с техни-

ком, и целых полтора часа они простояли над машиной, заглядывая и прощупывая со всех сторон, или, лежа на спине, подползали под широко раскинутые крылья и снова высматривали, щупали, мазали холодные винтики, гайки, болты. Жарову хорошо знакомо это тревожное состояние перед решительным делом – не впервые вылетать ему в неравный бой, но сегодня тревога как-то особенно свежа, а мысль по-особенному чутка, быстра и неспокойна. Что это: неверие ли в свои силы, или опасение за испытанного, но усталого, растрепанного друга – за свой аппарат? Или еще что?..

Может быть, скорбь товарищей о дорогом покойнике – не передалась ли она и ему: круглый холмик влажной, свежей земли нейдет из головы.

Жаров мимо старта, где с распростертыми крыльями выстроились в ряд самолеты, мимо крайней палатки поплелся тихо по узкой лесной тропе, сам не зная куда и зачем идет…

У самой реки столкнулся с Крючковым – тот в жестяном измызганном чайнике с веревочной ручкой тащил воду на вечерний чай.

– Ты что тут бродишь один? – окликнул он Жарова, улыбаясь бесцветными водянистыми глазками. – Аль не привык к новому месту?..

– Да вот тут… – начал было Жаров, но понял, что отвечать собственно нечего, – не кончил, спросил сам: – Заправиться?..

– Идем вместе, – ответил тот, подходя к Жарову и подхва-

тив его под руку.

Повернули, пошли по тропинке обратно и мало-помалу разговорились, ушли в воспоминания о прошлом, о работе под Киевом, о живых и погибших товарищах… Чайник с водой уж давно подвесили у придорожной березы и ходили взад-вперед, увлеченные разговорами.

Худенький, узколицый Крючков, с рыбьими глазами, мочальными припущенными волосами, одетый в несуразно растопыренные галифе, юркий и франтоватый недалекий человечек – никогда по-настоящему не был близким товарищем Жарову, но теперь они разговорились, как близкие друзья, и Крючков совершенно не испытывал той обычной робости и чувства неравенства, той неловкости, с которою прежде подходил он к Жарову. Его не давила грузная, широкая фигура товарища, не смущали пристальные, тяжелые взгляды черных глаз, и вся речь Жарова, прежде казавшаяся такой пренебрежительной и высокомерной, показалась ему теперь простой, откровенной и задушевной… Он задорно, торопясь и сбиваясь, польщенный в глубине души такою переменой, высказывал Жарову свои мысли:

– Наше дело воевать, – горячился он, – воевать, и больше ничего… Все разговоры о мирном применении авиации, по-моему, одна только чушь. За ширму прячутся, очки втирают, а на самом деле одно у всех идет приготовление – к войне… И кто больше приготовится – тот наверху. Далеко нам еще до того, чтобы дамочек по воздуху катать…

Крючков не имел никаких специальных познаний в авиации, он был летчик – и только, да и среди летчиков никогда не считался особенно примечательным. Он был неглуп, но как-то легковесен и крайне неубедителен. Учился когда-то в гимназии и сохранил от той поры дурную привычку ввязываться в спор на любую тему, со значительным видом сообщая разные услышанные новости или мысли и факты из последней прочитанной брошюрки; все это, разумеется, выдавалось за собственное достояние, но чуткий собеседник уже с первого слова умел раскусить незамысловатую личность Крючкова… Тихон Жаров, наоборот, дело понимал и интересовался им серьезно, и тех, которые с ним сталкивались, всегда приятно волновало его отчетливое, твердое знание и глубокая уверенность в том, что говорит. Таких «фендриков», как Крючков, эта серьезность Жарова отпугивала от «ученых» разговоров, и сам Крючков, встречаясь с Тихоном под Киевом, постоянно чувствовал себя перед ним на положении ученика. Но сегодня все обстояло по-иному… Когда он высказался горячо и торопливо, Жаров, посмотрев ему спокойно в глаза, сказал:

– Так я тебе не про завтрашний день и говорю, я на будущее…

Горячка Крючкова, видимо, нисколько его не задевала, не передавалась: он говорил тихо и спокойно, как всегда.

– Ты о настоящем, а я про будущее, – гудел он угрюмым, мрачным басом. – Война… Что такое война? Война только

средство… Придет время, когда ее не будет, – и тогда…

– Дамочек катать! – хихикнул Крючков.

Ввернуть «словечко» доставляло ему всегда величайшее удовольствие.

– Да што ты, в самом деле, – посмотрел на него укоризненно Жаров, – у тебя только дамочки одни перед глазами – неужто больше и делать нечего?.. Ты, братец, очень, как бы это сказать?..

Жаров пальцем пошарил лоб, улыбнулся и, не желая обидеть собеседника, подыскал с трудом подходящее слово: – Ты очень… забавно представляешь себе это будущее… На наших птицах быстрей, чем поездом, – и легче, и безопасней, и удобней, да и дешевле – на них проделаешь что угодно: и груз вези, и пассажиров, почту, и в земельном деле пригодится, в охоте ли, в научной ли какой экспедиции, в работах астрономических, в изыскательных работах – на наших птицах, так рванем вперед, как ни в какой другой области… Это теперь еще не всеми понято, многие думают, что птица стальная только для войны… Большая, брат, ошибка. Это значит – из-за дров не видеть лесу…

Жаров снял пилотскую шапочку, чуть державшуюся на лохматой, кудрявой голове, и всей пятерней провел ото лба к затылку…

Крючков уж давно опустил его руку и жестикулировал, поспевая за Тихоном со стороны, и, как бы не надеясь на силу одних своих слов, размахивал перед носом Тихона ку-

лаками, выводил каракули по воздуху или отчаянно тыкал в пустоту указательным пальцем, словно старался что-то нащупать, во что-то долбануть. Тихон шел и смотрел перед собою, редко поворачиваясь в сторону и как бы совершенно не замечая Крючкова. Но он не пропускал ни одного слова, на все отвечал и спорил с явным удовольствием… Хотя он и понимал, что от Крючкова мало что можно услышать толкового, но ему самому хотелось высказать и даже выслушать собственные свои мысли… Поэтому, нисколько не обижаясь на легкомысленные возражения товарища, он отвечал сам себе на те вопросы, которые роились в голове и которые только отдаленно связаны были с теми вопросами, что задавал Крючков.

– Да… из-за дров не видеть лесу, – повторил он еще раз последние свои слова. – С годом год конструкция аппарата становится все проще, все совершенней… И все большая емкость, все больше удобств. Вон на виккерсе на английском – знаешь? Там, братец мой, шестнадцать спальных комнатушек, там тебе и столовая, и уборная, и читальная комната, тридцать с лишком человек прет – это не фунт изюму… А быстрота, слыхал: французик один триста верст в час отмахал на ньюпоре… Да што: кругом, брат, вперед идет… И все меньше жертв, с годом год все меньше – теперь одни чудаки думают, что по воздуху летать опасно, – да што я тебе об этом буду говорить – сам знаешь. В Англии за прошлый год, за девятнадцатый, перелетело пятьдесят две тысячи че-

ловек, – то есть по делам невоенным… а что думаешь: ни одного убитого и только десяток какой-то раненых – разве это процент? Ерунда, на пятьдесят две тысячи – ерунда… Да, пожалуй, и тут вина не от аппарата, а от нашего брата была. Летчиков, правда, парочку убило, шесть поранило, но это опять-таки не резон – так ли?

Крючков слушал с затаенным дыханием. Он несколько раз порывался было перебить Жарова, но тот молча отводил рукой его начинавшую жестикулировать руку, и Крючков замолкал… А к тому же, откуда ему было еще узнать эти сведения: он как учителя слушал теперь «знающего» Тихона. И хотелось ему поспорить, и послушать было интересно… Внутренний бес не давал покою; он к тому же недавно прочитал какую-то маленькую книжонку, и теперь хотелось блеснуть перед Жаровым своими знаньями.

– Так-то так… все это хорошо, – изловчился Крючков вставить первые слова.

Жаров оборвал речь и стал вертеть цигарку, склоняясь к белой жестяной баночке, откуда вытряхивал махорку.

– Ты говори, я слушаю, – сказал он приостановившемуся Крючкову.

– …Так вот я-то и говорю, – продолжал Крючков, – что тут целый круг создается… Выходу нет, если по-твоему предположить: война только средство… Хорошо… Ее не будет… А мы в то же время знаем, что именно война и помогает росту авиации, что именно в военное время так быстро

авиация совершенствуется, – следовательно, рост ее, как выходит, – от военного искусства идет, им вызывается, развивается и толкается… Вне войны, может быть, даже и не будет нужды в авиации – со старыми средствами управятся… Вон, как броневики: их родила и совершенствует только война, а потом – потом в хлам, – куда они?

– Эка хватил, – не утерпел Жаров, – броневики… Да тут никакой и параллели-то нет… Или ты в самом деле не понимаешь, – не знаю я, – или поспорить тебе охота, но скажу откровенно, – прибавил он, – удивляет, смешит меня эта ваша новая модная теория, что мы с машинами только на войну пригодны… Эта задача преходящая – и даже очень… Главное не в том… Погоди-ка, техника еще какие чудеса создаст, только ахнешь! Теперь у нас не прочь все дело и на спорт свести… Эти трюки мне не по душе… Пока война – воюем, а там на другой путь… Уж непременно так…

– А по-моему, – начал снова Крючков, – по-моему, и здесь у нас дорога не ахти какая широкая, то есть на войне… Я вот летаю…

– Знаю, что летаешь, – улыбнулся Жаров.

– Да… Так и то – разве што на перепуг, а результатов больших – нет их вовсе. Ну, какие результаты… Разведка? Да, разведка кой-што дает… Но ведь такую разведку и конница заменит с успехом… Сигнализация? Бой корректировать? Ну, брат, это все больше из области философии – тут результаты совсем не проверенные. А что касается уничто-

жений, разрушения – ты сам отлично знаешь, что из сотни сброшенных бомб дай бог, чтобы две-три штуки с результатом… Перепуг один, паника – вот тут уж, конечно, результаты есть… Этого не отрицаю…

– Даже если так, – увесисто и внушительно перебил его Жаров, – если только твое подсчитать, – и это результат немалый… Но имей в виду, смешной ты человек, – разве можно брать нашу убогую, да к тому же и растрепанную авиацию… Ты не у нас смотри… Мы што – мы только в будущем, нам пока остается одним своим мужеством покорять чужую технику… Ты возьми американский, английский флот, покойной памяти германскую авиацию… Да если они, черти полосатые, двинут на нас свои эскадрильи – што ты со своим гнилым фарманишком сделаешь? Помяни мое слово, Крючков: если будет большая война – победит в этой войне воздушная эскадрилья… Против нее ни море, ни суша, ни конница, ни пехота – не выстоит ничто. Да и на самом деле – как ей не победить, когда она одна совместит в себе все виды оружия. Конница? Быстрая разведка? Хоть ты и сомневаешься, а, по-моему, вернее нас с тобой никто этого не сделает… Особенно если еще фотографирование и способы передачи вперед шагнут… Пехота? Но что у пехоты за цель, какие задачи? Деморализовать врага, расколошматить его, отнять территорию… А ты знаешь, что в Америке на самолетах Ларсена по тридцать пулеметов устанавливают! Знаешь, что авиабомбы в две тонны весом есть, что есть в той

же Америке какой-то новый, необычайной силы удушливый газ, заключаемый в стальные гостинцы? А «пожарные» бомбы, чиненные фосфором, а пушки на самолетах!.. Трехдюймовка-то уж бьет там без отдачи, – теперь шестидюймовую прилаживают… Тут тебе и всей артиллерии замена. Што ты берешь наш русский флот? Разве это тебе пример? Ты через переносицу глянь…

Крючков и на самом деле дальше собственного носа не видел ничего. Все его рассуждения и возраженья никого ни в чем не могли убедить, потому что и сам-то он не был в них убежден. Тем менее могли они убедить Жарова. Тихон понимал его отлично и, надо сказать, если бы не это особенное его сегодняшнее настроение, – вряд ли стал бы он разговаривать и спорить с Крючковым о таких высоких материях. Но он чувствовал органическую потребность высказаться и что-то уяснить себе самому. И говорил, спорил, отвечал, часто, может быть, невпопад, возражая не по существу, а продолжая какую-то нить собственных внутренних рассуждений… Теперь он этой потребности больше не чувствовал, и как только Крючков стал дальше разводить «турусы на колесах», он остановил его на полуслове, взял за плечо:

– А уж совсем, брат, стемнело. Пойдем-ка чай пить… Мне ведь на заре подыматься…

Они повернули к палаткам, сняли чайник с березки и скоро, разведя костер, уселись на траве, разговаривая о чем придется и не возвращаясь больше к старым темам.

– А кто с тобой летит? – спросил Крючков, когда вошли они укладываться в палатку.

– Не знаю… Какого-то Ферапонтова хотели дать – я же тут никого не знаю…

– А вот што: я сам полечу с тобой – хочешь? – посмотрел ему Крючков вопросительно в лицо.

– Чего же, давай, – согласился Жаров.

Они раскинулись на траве, подбросив кожаные тужурки под головы. Скоро Крючков уснул, и Тихон долго слушал его ровное, безмятежное дыханье. Но самому не спалось… Он ворочался с боку на бок, зарывался в тужурку с головой, но и это не помогало… Тихо поднялся, вышел на волю…

Голубыми отливами блестели на старте стальные птицы.

Он подошел к своему аппарату и начал снова осматривать его, ощупывать, заглядывать с разных сторон.

Вынырнул из тьмы дежурный часовой, окрикнул, но, узнав своего, прошел мимо.

Разговор с Крючковым не рассеял его смутную тревогу – он чувствовал в себе по-прежнему глубокое, необъяснимое беспокойство… Приходили и уходили мысли, вставали и пропадали воспоминанья, а тревога все оставалась неизменной.

Так, блуждая по опушке, он незаметно пришел к тому месту, где круглым желтым холмиком отмечена была свежая могила. Остановился над ней, минуту постоял в раздумье и

поплелся снова к палатке…

Там все по-прежнему ровным безмятежным сапом посвистывал Крючков… Тихон опустился, снова хотел заснуть, но сон не приходил, была только одна беспокойная дремота… Так пролежал он часа три, а когда засерела поляна и в открытый треугольник завешенной палатки пробилась бледная предрассветная муть, – он разбудил Крючкова и быстро зашагал умываться к реке.

Проснулись все и высыпали из палаток, полураздетые, в накинутых на плечи тужурках, ежась в утреннем холоду; окружили улетавших, гуторили, спрашивали, давали советы…

Тихон с Крючковым забрались в машину, уложили бомбы, приставили кольт. Крючков зачем-то открыл и снова закрыл футляр с биноклем, посмотрел в сумку, пошуршал бумагой…

– Ну, счастливо, товарищи!

– Айда!.. Айда!..

Тихон улыбнулся, взялся за руль, дал мотору полный газ, взял разбег – и медленно, грузно, словно не желая отрываться от земли, аппарат приподнялся над травой и вдруг рванулся быстро, словно озлясь, нырнул в пространство и начал забирать высоту…

Разведчик темной ночью, пробираясь через глухие заросли, не всматривается так пристально в тьму, не вслушивает-

ся так чутко в шорохи затаившейся ночи, как насторожился теперь Тихон Жаров.

Четко и бурно ревел пропеллер, но из этого рева привычный слух его отчетливо выделял и слышал, как терлись и шаркались в воздухе крылья, как звенела каждая пластинка, визжали слабые тросы, шумели, скрежетали, стонали и пели сложную удивительную песню все кончики стальной быстролетной птицы…

Крючков сидел в глубине и зорко всматривался в прозрачную голубую пустыню, смотрел туда, где каждое утро сверкала в ранних лучах чужая птица, на которую мчались они охотой. Но нет ничего…

Свежий воздух щекочет ноздри; чем выше, тем легче и глубже вздыхает грудь; все шире, все необъятней перед глазами раскидываются голубые бездонные просторы… На светлые – черные полосы, на черные – светлые пятна поделилась земля: там гомон, грохот, шум, движенье… А здесь, когда б не пропеллерный вой – такая безграничная тишина, такая чистая, светлая пустота, ненарушимый покой… Словно со дна встревоженного океана, где кипит-суетится беспокойная жизнь, подымались все выше, все выше и легче они к прекрасному тихому лону. Какой простор! Какая воля! Теперь бы лететь все выше и выше в зенит, лететь за планетой, минуя планеты, лететь по миру… Велика твоя воля, человек, пронзительна мысль, в восхищенье приводит, восторги родит твое мастерство, твой труд, твои победы, но ты победил

миллионы тайн, а миллионов миллионы все еще стоят перед тобой роковой загадкой. Но нет той тайны, которую не переборет человеческий труд… Пройдут века, и меж планетами будут люди носиться так же легко и свободно, как носятся ныне они меж горами, по морям и океанам…

Не мысли, а их подобие, какие-то краткие обрывки, захватывающие образы, отдельные прекрасные слова кружились перед Тихоном в ураганной пляске. Он не знал, о чем теперь думает, но сердце дрожало в экстазе, из груди были готовы прорваться торжественные гимны… От ночной тревоги не осталось и малейшего следа, – он на земле чувствовал себя не так покойно, как здесь, в воздушном океане. Сами собою срывались с губ отдельные, себе непонятные слова – и он не старался их понимать, не удивлялся им: в этих случайных умчавшихся звуках, как в образах, печатлелись его восторги, распиравшие грудь.

Крючков по-прежнему неотрывно и пристально глядел в одну точку: над этой вот черной каймой, над лесом, из-за дальней горы, должен подняться неприятель… И вдруг он услышал где-то в стороне чужие непрерывные рокочущие звуки – будто их ветром донесло сюда из воздушной пустыни. Тихо дотронулся он до плеча товарища и замер с приоткрытым ртом, перевел на него свой немигающий, напряженный взор, давая понять, что свершилось что-то важное. А Тихон, словно прикованный, уже давно сидел с высоко вздернутой головой и смотрел в ту сторону, откуда нес-

лись эти новые, неожиданные волны звуков. Он услышал их прежде Крючкова и понял, что неприятель, обогнув линию леса, поднялся с другой стороны и теперь держался значительно выше… Он перегнулся через борт и вдруг увидел, что тот, близкий и страшный, стремится к нему. Тихон круто повернул и повел в сторону накрененную машину… Крючков наготове держал пулемет, прильнув к нему и будто опасаясь, что кто-то сильно и неожиданно рванет и выхватит его из рук… Тихон хотел закружить по спирали и подняться врагу наперерез, но тот неотступно следил за полетом, ускорил ход и быстро завернул навстречу подымавшемуся Тихону. Потом опустился камнем и мчался прямо на него, словно собственной силой хотел столкнуть с пути… Крючков заработал пулеметом. Тихон впился костенеющими пальцами в холодную гладкую округлость руля – еще быстрей и круче хотел скользнуть с пути… В это мгновенье зазвенели какие-то новые быстрые жалобные звуки – неприятель бил из пулемета, и пули со стонущим писком проносились мимо… Вдруг совершилось что-то изумительное – чуть блеснул в стороне и вспыхнул полымем неприятельский аэроплан – Крючков пробил ему бензиновый бак…

Во мгновение ока пилот выскочил на нижнюю левую поверхность и продолжал управлять, не давая пламени охватить весь аппарат, – круто скользя на крыло, отгоняя в сторону огненные языки…

Поглощенный этим страшным зрелищем, Тихон как-то

машинально сделал крутой переворот через крыло, и в этот миг обе правые несущие поверхности отскочили моментально, взвились и умчались куда-то вверх… Он быстро выключил мотор, закрыл сектора, рванул рулями, поставив их в штопорное положение, – самолет пошел быстро книзу сжатой вертикальной спиралью – все быстрей, быстрей, быстрей…

Вот закружились в дикой пляске небо, земля, постройки, лес… Помутнело в глазах. Где-то далеко слева сверкнул золотым шаром с такой же быстротой летевший книзу, полыхавший в пламени неприятельский аппарат… Раздирающим сердце свистом свистели отчаянно тросы, адское задувание выло и хрипело со всех сторон, словно били и резали где-то огромное живое стадо, и страшный предсмертный вой его доносился и стыл в ушах… Вдруг раздался треск, – что-то грузно дернулось, лопнуло, заскрипело, заухало… Тихон потерял сознание…

Аппарат упал на берегу тихоструйной Валки, шаркнув по вершинам соседних берез. Неприятельский аппарат унесло куда-то далеко за реку. Когда товарищи подскакали к берегу и извлекли из-под обломков Тихона с Крючковым, первое, что бросилось всем в глаза, – это бледное, чудом сохранившееся лицо Крючкова: неприятельская пуля пробила ему сердце, грудь была пробита в трех местах. Когда они мчались с Тихоном стремительно вниз – уже бездыханным тру-

пом застыл в те мгновенья Крючков и не пережил ужаса, который белым серебром обелил кудрявые черные волосы его товарища.

Тихон навзничь, весь облитый кровью, лежал под обломками своего испытанного, но усталого друга. Череп раскололся на две части, и оттуда, словно из гнойной раны, сочились и стекали длинные скользкие полоски окровавленного мозга… Слиплись и примокли его прекрасные черные волосы – они блестели теперь серебром нечеловеческого ужаса, разбросались на две половинки, и отдельные длинные волоски над расколотым черепом тянулись друг к другу, словно тоскуя и жалуясь, что их разлучили…

Теперь на зеленой поляне, близко от берега тихоструйной Валки, стоят одиноко, безмолвно три холмика: три дорогие могилы.

17 мая 1923 г.